

МАСТЕР СЕРИЯ

84(2Рос-Рус)6-4
А 91

Виктор Астафьев
ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
2 0 0 0

СА-268661

МАЧЕ:
С Е Р И Я

Виктор Астафьев

ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ



Лимбус Пресс
Санкт-Петербург
2000

Оренбургская областная научная
библиотека им. Н. К. Крупской

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Боже правый!

Пусто и страшно становится в Твоем мире.

Н. В. Гоголь

СОЛДАТ ЛЕЧИТСЯ

Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца, фашиста. На войне.

Случилось это на восточном склоне Дуклинского перевала, в Польше. Наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона, во взводе управления которого я, сменив по ранениям несколько военных профессий, воевал связистом переднего края, располагался на опушке довольно-таки дремучего и дикого для Европы соснового леса, стекавшего с большой горы к плешинкам малоуродных полей, на которых оставалась неубранной только картошка, свекла, и, растрепанная ветром, тряпично болтала жухлыми лохмотьями кукуруза с уже обломанными початками, местами черно и плешисто выгоревшая от зажигательных бомб и снарядов.

Гора, подле которой мы стали, была так высока и крутоподъемна, что лес редел к вершине ее, под самым небом вершина была и вовсе голая, скалы напоминали нам, поскольку попали мы в древнюю страну, развалины старинного замка, к вымоинам и щелям которого там и сям прицепились корнями дерева и боязно, скрытно росли в тени и заветрии, заморенные, кривые, вроде бы всего — ветра, бурь и даже самих себя — боящиеся.

Склон горы, спускаясь от гольцов, раскатившийся понизу громадными замшелыми камнями, как бы сдавил оподолье горы, и по этому оподолью, цепляясь за камни и корни, путаясь в глушине смородины, лещины и всякой древесной и травяной дури, выключнувшись из камней ключом, бежала в овраг речка, и чем дальше она бежала, тем резвей, полноводней и говорливей становилась.

За речкой, на ближнем поле, половина которого уже освобожденно и зелено светилась отавой, покропленной повсюду капельками шишечек белого и розового клевера, в самой середине был сметан осевший и тронутый чернью на прогибе стог, из которого торчали две остро обрубленные жерди. Вторая половина поля была вся в почти уже пониклой картофельной ботве, где подсолнушком, где ястребинкой взбодренная, с густо сорящими по меже лохмами осота.

Сделав крутой разворот к оврагу, расположенному невдалеке от наблюдательного пункта, речка рушилась в глубину, в гущу дурмана, разросшегося и непролазно сплетенного в теснотище оврага. Словно угорелая, речка с шумом вылетала из тьмы к полям, угодливо виляла меж холмов и устремлялась к деревне, которая таилась за полем со стогом и холмом.

Деревушку за холмом нам было видно плохо, лишь несколько крыш, несколько деревьев, востренький шпиль костела, кладбище на дальнем конце селенья, да все ту же речку, сделавшую еще одно колено и побежавшую, можно сказать, назад, к какому-то хмурому, по-сибирски темному хутору, тесом крытому, из толстых бревен рубленному, пристройками, амбарами и банями по задам и огородам обсыпанному. Там уже много чего сгорело и еще что-то вяло и сонно дымилось, наносило оттуда гарью и смолевым чадом.

В хутор ночью вошла наша пехота, но сельцо впереди нас надо было еще отбивать, сколько там противника, чего он думает — воевать дальше или отходить подобру-поздорову — никто пока не знал.

Наши части окапывались под горой, по опушке леса, за речкой, метрах от нас в двухстах шевелилась на поле пехота и делала вид, что тоже окапывается, на самом же деле пехотинцы ходили в лес за сухими сучьями и варили на пылких костерках да жарили от пуза картошку. В деревянном хуторе еще утром, в два голоса, до самого неба оглашая лес, взревели и с мучительным стоном умолкли свиньи. Пехотинцы выслали туда дозор и поживились свежатиной. Наши тоже хотели было отрядить на подмогу пехоте двух-трех человек, был тут у нас один с жиитомирщины и гово-

рил, что лучше его никто на свете соломой не осмолит хрюшку, только спортит. Но не выгорело.

Обстановка была неясная. После того как по нашему наблюдательному пункту из села, из-за холма, довольно-таки густо и пристрелянно понужнули разика два минометами и потом начали поливать из пулеметов, — а когда пули, да еще разрывные, идут по лесу, ударяются в стволы, то это уже сдается за сплошной огонь и кошмар, — обстановка сделалась не просто сложной, но и тревожной. У нас все сразу заработали дружнее, пошли в глубь земли быстрее, к пехоте побежал по склону поля офицер с пистолетом в руке и все костры с картошкой распинал, разок-другой привесил сапогом кому-то из подчиненных, заставляя заливать огни. До нас доносило: “Раздолбай! Размундяй! Раз...”, ну и тому подобное, привычное нашему брату, если он давно пребывает на поле брани.

Мы подзакопались, подали конец связи пехоте, послали туда связиста с аппаратом. Он сообщил, что сплошь тут дядьки, стало быть, по западноукраинским селам подметенные вояки, что они, нажравшись картошек, спят кто где и командир роты весь испсиховался, зная, какое ненадежное у него войско, — так мы чтоб были настороже и в боевой готовности.

Крестик на костеле игрушечно мерцал, возникая из осеннего марева, сельцо обозначилось верхушками явственней, донесло от него петушинные крики, вышло в поле пестренькое стадо коров и смешанный, букашками по холмам рассыпавшийся табунчик овец и коз. За селом холмы, переходящие в горки, затем и в горы, далее грузно залегший на земле и синей горбиной упершийся в размытое осенней жижей поднебесье, — тот самый перевал, который перевалить стремились русские войска еще в прошлую, в империалистическую войну, целясь побыстрее попасть в Словакию, зайти противнику в бок и в тыл, и с помощью ловкого маневра добыть поскорей, по возможности бескровную победу. Но, положив на этих склонах, где мы сидели сейчас, около ста тысяч жизней, российские войска пошли искать удачи в другом месте.

Стратегические соблазны, видимо, так живучи, военная мысль так косна и так неповоротлива, что вот и в эту, в “нашу” уже,

войну новые наши генералы, но с теми же лампасами, что и у “старых” генералов, снова толклись возле Дуклинского перевала, стремясь перевалить его, попасть в Словакию и таким вот ловким, бескровным маневром отрезать гитлеровские войска от Балкан, вывести из войны Чехословакию и все балканские страны да и завершить поскорее всех изнулившую войну.

Но немцы тоже имели свою задачу, и она с нашей не сходилась, она была обратного порядка — они не пускали нас на перевал, сопротивлялись умело и стойко. Вечером из сельца, лежащего за холмом, нас пугнули минометами. Мины рвались в деревьях, поскольку ровики, щели и ходы сообщений не были перекрыты, сверху осыпало нас осколками — на нашем и других наблюдательных пунктах артиллеристы понесли потери, и немалые по такому жиденькому, но, как оказалось, губительному огню. Ночью щели и ровики были подрывы в укос, в случае чего от осколков закатишься под укос и сам тебе черт не брат, блиндажи перекрыты бревнами и землей, наблюдательные ячейки замаскированы. Припекло!

Ночью впереди нас затеплились несколько костерков, пришла сменная рота пехоты и занялась своим основным делом — варить картошку, но окопаться как следует рота не успела, и утром, как только от сельца застреляли, затрещали, на холм с гомоном взбежали россыпью немцы, пехоту нашу будто корова языком слизнула. Обожравшаяся картошкой пехота, побрякивая котелками, мешковато трусила в овраг, не раздражая врага ответным огнем. Какой-то кривоногий командиришко орал, палил из пистолета вверх и по драпающим пальнул несколько раз, потом догнал одного, другого бойца, хватал их за ворот шинели, то по одному, то двоих сразу валил наземь, пинал. Но, полежав немного, дождавшись, когда неистовый командир отвалит в сторону, солдаты бегли дальше или неумело, да шустро ползли в кусты, в овраг.

Боевые эти вояки звались “западниками” — это по селам Западной Украины заскребли их, забрили, немножко подучили и пихнули на фронт.

Изъезженная вдоль и поперек войнами, истерзанная нашествиями и разрухами, здешняя земля давно уже перестала рожать

людей определенного пола, бабы здешние были храбрее и щедрее мужиков, характером они, скорее, пошибали на бойцов, мужики же были “ни тэ, ни сэ”, то есть та самая нейтральная полоска, что так опасно и ненадежно разделяет два женских хода: когда очумелый от страсти жених или просто хахаль, не нацелясь как следует, угодит в тайное место, то так это и называется — попасть впросак. Словом, была и осталась часть мужская этой нации полумужиками, полуукраинцами, полуполяками, полумадярами, полубессарабами, полусловаками, и еще, и еще кем-то. Но кем бы они ни были, воевать они в открытую отвыкли, “всех врагов” боялись, могли “бытысь” только из-за угла, что вскорости успешно и доказали, после войны вырезая и выбивая друг дружку, истребляя наше оставшееся войско и власти битьем в затылок.

В общем, западники драпанули в овраг и снова, как ни в чем не бывало, начали там варить и печь картошку, тем более что выгонять их из оврага было некому: кривоногого лейтенанта, командира роты, как скоро выяснилось, меткий немецкий пулеметчик снисходительной, короткой очередью уложил в картошку на вечный покой, взводных в роте ни одного не осталось.

* * *

Пока мы, взвод артиллерийского дивизиона, умаянные ночной работой, просыпались, очухивались, немцы холмик перевалили, оказались у самого нашего носа и окапывались уже по краю клеверного и картофельного поля, ожидая, вероятно, подкрепления. Но тут со сна, с переполоху открылся такой огонь, такой треск поднялся, что немцы сперва и окапываться перестали, потом, видя, что мы палим в белый свет, как в копеечку, снова заработали лопатками. Кто-то из наших командиров уже бежал вдоль опушки и кричал, и стонал: “Прицелы! Прицелы, растуды вашу туды!” Я глянул на прицел карабина и тоже изругался: прицел стоял на “постоянном” — в кого тут попадешь?! Сдвинул скобу на цифру “пятьсот” и вложил новую обойму.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОЛДАТ ЖЕНИТСЯ

Служил солдат четыре года и холостым побыл четыре дни. Такая вот баллада на старинный жалостный лад слагалась в моей башке под стук вагонных колес и под шум встречного ветра. Путь с войны я довольно подробно описал в одной из повестей и повторяться не стану — противно все это не только вновь переживать, но даже и на бумаге описывать. Катил я с незнакомой почти женщиной на ее любимую родину, на Урал, в ее любимый город Чусовой. Катил и все время ощущал томливое сосание под ложечкой. Куда меня черт несет? Зачем?

Но в той нестроевой части, куда я с отрядом искалеченных фронтовиков, у которых открылись раны, угодил после конвойного полка и госпиталя, была туча девок-перестарок, и взялись они за нас решительно, по ими же установленному, суровому закону: попробовал — женись! Были, конечно, среди нас архаровцы с опытом, уклонялись от оков, выскользали из цепких рук, что налимь. Конечно и девки среди девок были, которым все равно как давать, по правилу иль без правил.

Я же сам добровольно отдался Провидению — ехать-то не к кому, вот и пристроился, вот и двигался вперед на Восток, намереваясь в пути узнать характер своей супруги. Наивняк! Проживши бок о бок с нею полсотни с лишним лет, я и сейчас не убежден, что постиг женский характер до конца. Знаю лишь доподлинно и твердо одно: баба есть бездна.

В пути, в народной стихии, баба моя присмирела, ужалась, в тень отодвинулась, и волей-неволей пришлось мне брать руководство семейной ячейкой на себя. Хватили мы под моим, опыта

не имеющим, предводительством столько мук, страхов и горя — в мой солдатский рюкзак не вошло бы. А рюкзак был уместный, цвета неопределенного, сине-серого, безо всяких излишеств и за-тей, полубрезентовый мешок с крепкой удавкой — ни карманов, ни клапанов, ни внутренних перегородок.

Я назвал это сооружение сталинским подарком солдату-победителю. С тем рюкзаком моим и с чемоданчиком, вдетым в кокетливый чехол, застегнутый на пуговицы, да еще с узелком, в котором были женские нехитрые пожитки, добрались мы до станции — столицы нашей великой Родины, только-только спасенной от фашизма. Как поется в пионерской патриотической песне, в столице я “ни разу не бывал”, супружница ж моя посетила ее два раза: по дороге на фронт и когда-то ее отпускали в отпуск в связи с бедой, постигшей семью: украли корову, смыло огород вместе с урожаем.

По пути на Урал супруга моя останавливалась у тетушки — проводницы спецвагонов, квартировавшей в городе Загорске. И вот к этой самой тетушке наладилась супружеская пара, чтобы немного передохнуть, набраться сил для дальнейшего продвижения в глубь нашей необъятной страны.

Жена моя, попав в столицу, воспрянула духом, расправила крылья, взнялась во весь свой исполинский рост, ленинский — метр пятьдесят два сантиметра. Мощь эта, группа крови и прочие подробности были означены в красноармейской книжке. Она сразу дала понять, что столица имеет дело с бойцами, повалившими матерый фашизм, что человек она только с виду незатейливый, на самом же деле о-го-го какой разворотливый, прыткий и бедовый.

Для начала баба моя пихнула плечиком под задницу какого-то неповоротливого москвича, тот пошатнулся, но не упал, однако за очки схватился, отыскивая обидчика, уперся в меня взглядом и завел: “Поз-во-о-ольте!”

Супругу мою, подлинную обидчицу, он и не заметил. Она ж, никого и ничего не признавая, никого и ничего не страшась, рвалась сквозь толпу, вонзалась в нее, будто остро откованный гвоздик в трухлую древесину. Но, на мгновенье опамятавшись —

не одна ж она движется с фронта, семейной ячейкой движется, — хватанула меня за полу шинели и поперла вперед и дальше, вместе с чемоданчиком, с узелком, с полным брюхом отходов, так как мы оба давно уж не ходили до ветру, и я опасался, кабы из меня прямо в метро чего не выдавилось.

Так вот, где несомые толпой, где самостоятельно рубились мы в метро, проявляя истинный, неплакатный героизм, жена моя таранила всякие на пути преграды. И я еще успел мельком подумать, что с такой бабой не пропаду и всего, чего надо в жизни, достигну.

В неловкий час, в неловком месте пришло ко мне это умозаключение. В неловкий час, в неловком месте возникла наша семейная ячейка, и много ей всяких испытаний и приключений еще предстояло изведать.

Одно из них уже подстерегало нас тут, в метро, через какие-то минуты. Потом уж, на индустриальном Урале, услышал я индустриальную поговорку: рад бы вперед бегти, да зад в депо.

Но существу женского рода плевать на то, что сзади, ее занимало только то, что спереди. Кроме всего прочего, коммунистка она у меня и, значит, ей должно быть присуще стремление только вперед, только в борьбу, только к победам. Народ в метро тогда, в сорок пятом, если садился, то выйти никто не успевал, и наоборот, если выходил, то войти времени не хватало.

Пропустивши несколько поездов, жена моя с моим полупустым рюкзаком, достававшим ей почти до пят, хотя я и убавил лямки в два раза против нормы, уцелилась для броска в вагон. А я стою с чемоданчиком и узелком жены, уныло глазею на приближающийся поезд, в котором притиснуты, расплющены о светлые стекольные стены люди, и думаю: уж лучше бы нам пешком идти в Загорск, скорее доберемся до тети...

А поезд шик-пшик — и двери в обе стороны, рокоча, отворяются. Жена дерг меня за рукав и поперлась прокладывать дорогу, где-то, кому-то под мешок поднырнула, меж двумя толстыми бабами протиснулась, обернув их, будто матрешек, бордовыми лицами назад, узлами к поезду. Я меж этих толстых баб застрял, в привязанных за их спинами узлах запутался и потерял жену.

Показалось мне, видел, как она, наклонившись, юркнула меж ног какого-то гиганта, несущего на груди своей кучу народа. Он и жену мою внес в вагон. Я же принялся в панике толкать плечом и грудью человеческие спины, сдвинувшиеся одной непрístupной стеной, не щадил вроде никого. Двери в вагон вот они, рядом, но в воздушном пространстве раздался спокойный голос: “Осторожно! Двери закрываются!”, где-то шикнуло-пшикнуло, и сомкнувшимися дверьми отсекло меня от народа, едущего вперед и дальше, отсекло и от моей законной жены, которую я под Жмеринкой “раздобув”.

Как же так, товарищи?! Катастрофа семейной жизни. Мы ж можем потерять друг дружку навеки! В последней надежде бегу следом за набирающим скорость вагоном, бью напропалую и беспощадно народ оставшимся от жены чемоданом и чувствую крах всех планов и надежд, а бегу, бегу, и с каждой секундой все трагичней ощущаю бесполезность своих усилий — жена, вот она, рядом, за стеклышком, но вроде как ее уже и нету, вроде как она мне приснилась. Но нет, вон она, все еще живая, притиснутая к стеклу, что-то мне кричит, пальцем на стекле чертит...

Ушел поезд, огоньки хвостовые в тоннеле погасли, в голове моей, в душе ли, с детства песенной, вертится и вертится: “Вот умчался поезд, рельсы отзвенели. Милый мой уехал, быть может, навсегда. И с тоской немою вслед ему глядели...” — модная эта песенка в ту пору была, сочинил ее еще юный и тогда нетолстый Коля Доризо. Ну, это про Колю-то и про то, что он сочинил и сочиняет, я узнал после. А тогда, в победном сорок пятом году, стоял середь люду, темной грозовой тучей кружащегося. В дыры, в двери, в преисподнюю, на эскалаторе уплывало человеческое месиво, в котором я невдруг различил лица и не сразу вспомнил, что называется оно — народ. Но народ сам по себе, а я, бабой покинутый, сам по себе. Стою, значит, с чемоданчиком, с узелком, мешаю этому народу, очень мешаю ему течь, куда ему хочется, и вдруг в моей голове сверкнула мысль — употреблю заезженное выражение — что сабля вострая, просекла она мою башку до самого отупелого мозга: “А что, если жена моя подумает, что я на ней подженился и нарочно отстал от поезда с ее манатками?”

В долгом пути мы таких случаев навидались и еще больше наслушались. По теперешнему разумению мысль нелепая, глупая и даже абсурдная. Но войдите в мое положение, вспомните, сколько мне было годов, какое шаткое время стояло на дворе, где чего урвет, тут же и пропьет. Главное дело: не только манатки, но и все документы ее при мне, жены, шмыргалки этой, которую на ту минуту — спереду я любил бы, а сзади убил бы! Вот они, документы, на груди моей горячей, под сердцем, застегнутые булавкой с исподу к гимнастерке, в мешочке — кармане — у нас уж, в семье нашей новоявленной, так уж повелось по Божьему завету, за главного выступал я, и при многочисленных дорожных проверках документы предъявлял я надзорным и всяким прочим властям, потому как я мужчина, руковожу, стало быть, семьей, распрямить ее, перемать, осуществляю правопорядки и направление держу.

“Э-эх ты! Ах ты, в кожу, в рожу, в кровь, в печёнки и в селезенки, если они во мне еще не сгорели. Женился, будто в говно рожей вlepился! Зачем? Зачем?”

И вдруг завело, запело во мне, с детства порченном, по утверждению бабушки: “Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, н-не страдала душа”. Ночь! Она, она, курва, во всем виновата. Тогда ведь не то что нынче — провел ночь-то, джинсы в беремя и ходу. Нет, тогда, коли поблаженствовал, понаслаждался — неси ответ, не отлынивай. Ан и тогда не все же так безответственно собой распоряжались, как я, рассолодел, растворожил, мечтою вдаль простерся, о семейном уюте и счастье... Вот и блаженствуй, вот и наслаждайся — книжков начитался, по книжкам и живи сам, один, но не смущай людей и судьбы их не запутывай, девок в ночь не уводи...

“Чё же делать-то, а?” “Ах, зачем эта ночь...” — привязалась песня, звучит и звучит, курва, в башке.

Подниматься, пожалуй что, надо наверх, искать в Киевском вокзале комендатуру — поди-ка не один я тут такой удалой, мечтой о счастье ушибленный, и не одна такая на свете удалая баба?! Сдам ее документы и вещички в какой-нибудь отдел потерь и находок, пускай они ее ищут или она их, я же поеду

дальше, в Сибирь, к бабушке, к теткам, к родне. Эх они мне, голому и голодному, сами голые и голодные, обрадуются! Рюкзак! Хер с ним, с рюкзаком! Увезла и увезла стригулистка эта шалавая. Там и добра-то: пара белья, портянки да в узелок завязанные альбомчик солдатский да письма друзей и любимой медсестры.

Гром бы всех этих баб порасшиб! Ходят в беретах, в нарядах, да как их много-то, гораздо больше, чем мужиков! Вон без них, без баб, как хорошо жить было...”

“Постой-постой! А что она, супруга моя, мне кричала через стекло и пальцем на стекле чертила? Буквы какие-то? По пальцу, по движению его, буквы знакомые. Стоп! Ведь она чертила в воздухе и на стекле вроде как давно знакомое слово... Уж не Ленин ли?.. Вроде бы как вождь мирового пролетариата, Владимир Ильич? К чему это она покойника беспокоит? Партийная она — понятно, в пионерах еще Ленина полюбила, после Ленина еще кого-то, потом еще кого-то. Напоследок вот меня, беспартийного, из пионеров на третий день за недисциплинированность исключенного”.

Я выбрал из толпы наинтеллигентнейшего вида человека, в очках, конечно, в шляпе, конечно, учтиво поклонился ему и спросил; нет ли в метро станции с названием Ленин?

— Как нет? Ленин везде есть, он, всюду любимый, с нами, — охотно, как бы даже озуя, отозвался московский интеллигент. — Библиотека Ленина. Следующая остановка.

— Ой, спасибо! Вот спасибо! — вскричал я, пятась от московского интеллигента, лицо которого вдруг разгладилось. Шутил насчет Ленина, опасно прикалывался. Ну и народ эти москвичи! Да нет, улыбку, веселую, скорее, изгальную, вызвал у него не Ленин, а я, такой, должно быть, блаженненький вид у меня сделался.

Вдали загудел поезд, публика придвинулась к краю перрона и сомкнула ряды.

“Ну, блядь, теперь уж я не уступлю, теперь уж я поведу себя как в бою, чтоб бабу не потерять совсем”, — готовясь к штурму, взбадривал я себя и со второго ряда как двинул в вагон, прорвал

Содержание

ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ. *Повесть*

Часть первая. Солдат лечится	7
Часть вторая. Солдат женится	108

РАССКАЗЫ

Ясным ли днем	265
На далекой северной вершине	297
Яшка-лось	307
Тревожный сон	319
Курица — не птица	338
Жизнь прожить	349
Тельняшка с Тихого океана	396
Людочка	437
Мною рожденный	480
Улыбка волчицы	500
Из тихого света. <i>Попытка исповеди</i>	519

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения
невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской областной
универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской по адресу:
г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-48